

Деревня Вшивка умирала. И так-то не шибко большая была (в хорошие времена всего тридцать семей хозяйствовало), а тут и вовсе захирела. В зиму только пять домов живыми глазами поблескивали. Все остальные избы дачники выкупили, а они зимой по теплым городским берлогам залегали.

И дело не в странном названии деревеньки. Вшивкой она была названа не потому, что там вши водились более обильно, чем в других деревнях. Просто у нее имени не оказалось при царской переписи. Вот и вшили в дело между двумя соседними деревушками Кафтейкой и Жулейкой бумагу, где указывалось несколько дворов на берегу речки Липлейки. Вшили да так и стали именовать – Вшивкой. Русские люди неприхотливые. Живут, где понравится, а не где лучше. К тому ж на всякий случай у народа всегда красное словцо имеется. И тут народ не оплошал – хоть горшком, говорит, назови, только в печь не ставь. И то верно. Разве в названии дело? Главное, как хозяйствовать. Но, по правде сказать, особо-то хозяйствовать не давали. То колхозы, где всё силком да по команде сверху, то налоги на каждую курицу и каждый кустик смородины, то трудодни, за которые шиш с маслом выдавали. А уж работали с утра до ночи. На свое хозяйство еле времени хватало. Ну да ладно. Прожили ведь как-то. А разбежались все из деревни не потому, что по-особому на свете плохо жить стало. Просто в городе житье так ладно устроилось, что никому уже не хочется в земле ковыряться. Вот и остались во Вшивке только пять старух: либо одинокие, либо упрямые – которых даже дети уговорить не могли бросить родные места и перебраться в уют теплых и светлых городских хором.

Баба Груня была из упрямых. Уж сколько ее сын звал в город! Не поехала. Нет, в гости-то, конечно, разок, когда помоложе была, скаталась. Надо же посмотреть, как дите родное поживает, да и на внучаток

поглядеть лишний раз в радость. Но всего-то три дня и побыла в гостях старушка – домой запросилась. Там курочки, козочка. Соседке Полине чай уж надоело за чужой скотиной ходить. «Нет, родненькие мои, поеду», – сказала баба Груня и укатила во Вшивку. А как пошла от остановки-то по знакомому лужку, аж сердечко затрепыхалось от радости – родное всё, любимое. Слезы даже навернулись – будто двадцать лет не видела просторов своих. Да и не мудрено, что всплакнула. Всю жизнь безвылазно прожила баба Груня в этой деревушке. И родилась тут, и молоденькой козочкой по лугам скакала, и милого-суженого нашла, и свадьбу отгуляли, и сыночка родила, и Петеньку, мужа своего, оплакала, когда похоронка пришла в сорок третьем.

Да... пробурлила жизнь... Пора уж на погост собираться. Местечко уже присмотрела, домовину заказала – вон во дворе у сеновала стоит. С соседями договорилась, показала, где положить – неподалеку от бабюшки с матушкой. Да вот всё никак Бог не берет. Бессмертная, что ли?

Но к Пасхе баба Груня вдруг приболела. Весна выдалась теплая – вот и навыскакивалась старушка, раздевшись, то во двор, то в огород. Тепло-то весеннее коварно. Разденет, а потом ледяным ветерком дунет, не заметишь, как простынешь. Кашель привязался к бабке нешуточный. Уж чем только ни лечилась она – и травы пила, и на печи лежала, и в баньке парилась. Гудит внутри чего-то, словно в самоварной трубе. Соседка Полина уговорила в районную больницу съездить. Хоть вроде и привыкла бабка к мысли, что когда-нибудь помирать придется, а как пора-то подошла, вроде бы и не надо. Может, и правду доктор неминуемую отодвинуть сможет? Поехала баба Груня. Благо сейчас на автобусе за полчаса до района доехать можно.

А зря, видать, Полинку послушалась. Знала бы, что будет в этой больнице – с места бы не тронулась.

Не понравилось всё бабе Груне сразу. Сначала очередь выстояла. Потом в окошечко сунулась, а там пигалица щипаная сидит – слова нормального молвить не может.

– ФИО! – говорит.

– Чёво? – переспросила баба Груня. – Не понимаю, чёво ты баешь. Приболела я, доченька, в груди ноет и кашель мучает. Добрые люди к вам послали.

– Зовут тебя как, старая? – крикнула пигалица. – Мне карту твою найти надо.

– Каку таку карту? – прошамкала старушка. – Не надо мне никакой карты. А кличут меня все бабой Груней.

– А фамилия у тебя есть, баба Груня? – еще пуще закричала непонятливая девчушка.

– А ты чёво кричишь? – обиделась баба Груня. – Чай, я не больно глуха. А фамилия моя Макарова.

– А имя-отчество?

– Аграфена Филипповна.

Девчушка застучала крашеными ноготочками по дощечке с пуговками, словно у гармошки. А сама в телевизор глаза лупит. «Видать, кино интересное кажут», – подумала баба Груня и еще больше осерчала. И зачем она в такую даль поперлась? Никому она тут не нужна. Отлежалась бы, травкой отпоила кашель. Нет ведь, Поинка оглашенная с толку сбила. Поезжай да поезжай.

– Аграфена Филипповна! – опять заверещала пигалица. – Ты когда последний раз в больнице-то была?

– А никогда, доченька, и не была. В первый раз я у вас тут, – смиренно ответила баба Груня и зашла в тяжелом утробном кашле.

– А лет-то тебе сколько, баба Груня?

– Так на Крещение девяносто минуло.

– И за девяносто лет ты ни разу в больнице не была? – удивилась пигалица.

– А чёво тут мне делать-то? И сейчас бы к вам не пришла, если бы Полинка не взбаламутила.

– Ну, бабуль, ты приколистка! – засмеялась девчушка. – Паспорт давай, буду карту заводить.

Потом опять пришлось сидеть в очереди. И только когда баба Груня совсем сомлела от духоты и изнуряющего кашля, пустили ее к врачу. Врачиха – толстая носастая тетка – послушала ее, потыкав холодной присоской в тощие бока, потом выдала бумажку и велела идти в другое здание.

– Ложиться вам надо, Аграфена Филипповна. Есть подозрение на воспаление лёгких.

– Куды это мне ложиться-то? – подозрительно спросила баба Груня. – Нет, ложиться тут я не буду. У меня домовина во Вшивке во дворе стоит. И лягу я только рядом с матушкой и батюшкой. Я Полинке наказала, чтобы слева от них положили.

– Да, чай, я тебя не помирать кладу, а лечиться. Вон через дорогу здание видишь? Там больница, стационар. Ложись и лечись. Понятно тебе?

– Ну, теперь понятно, – согласилась баба Груня.

В палате, кроме старушки из Вшивки, оказались еще пять бабенок. У всех свои болячки: у кого по женской части, кто желудком мается, а кто-то, как баба Груня, простуду запустил до крайности. Баба Груня всю больницу обошла, со всеми перезнакомилась, во все тонкости больничной жизни вникла, уж больно ей любопытно всё – почитай, всю жизнь безвылазно во Вшивке прожила, ничего другого не видела. А тут вон как интересно. Потолки высокие, окна огромные (как их только к Пасхе вымыть умудряются?), столоваются все в общей комнате, уборная прямо в помещении – в конце коридора (полы там желтой глиняной плиткой выстланы и моют их не руками, а палкой, на конце которой тряпка намотана). А врачихи все в белых халатах ходят, вежливые, улыбаются, не то что та пигалица, которая вначале принимала.

Вечером больные собрались в широком коридоре и стали смотреть телевизор. Баба Груня тоже немножко посмотрела. Хотя ей это не внове. У многих дачников теперь телевизоры есть, те приглашали и бабу Груню повечерять. Баба Груня не отказывалась. Только в телевизор она не смотрела. Она садилась сбоку от ящика и глядела на людей. Ей было интересно и удивительно, как люди часами пялятся на мелькающие картинки, что-то в них понимают, смеются и огорчаются, будто в настоящей жизни.

– Да я ведь там ничёво не понимаю, – отмахивалась она от хозяев, если те настойчиво предлагали посмотреть какое-нибудь кино. – Чёво там балакают, я не разбираю.

Глядя на меняющиеся выражения лиц зрителей, она радовалась и огорчалась вместе с ними и шепотком говорила себе: «Надо же, чёму только радуются – будто подарки получили».

В больнице баба Груня тоже хотела понаблюдать за людьми, да только кашель одолел окаянный, пришлось в палату идти и в постель ложиться.

На другой день ее пригласили делать рентген. Старушка смиренно пошла за медсестрой, послушно разделась. В рентгенкабинете работала злющая рыжая тетка, которую все звали Стой-не-дыши. Запихнув очередную жертву в рентгеновскую кабину, она уходила в другую комнату и оттуда орала хриплым прокуренным голосом: «Стой! Не дыши!» Больше она не говорила ничего. Сделав снимок, медсестра распахивала кабину и выдергивала больного наружу. Ее терпеть не могли больные и не любили сослуживцы. Именно к такому монстру и попала в лапы баба Груня.

Затолкав старушку в узкую кабинку и припечатав ее к экрану, рыжая кобыла протопала в соседнюю комнату и проорала свою дежурную фразу:

– Стой! Не дыши!

Баба Груня по старости немножко недослышивала, поэтому поняла слова монстрихи по-своему. Ей послышалось, что из другой комнаты донеслось: «Спой от души!»

Ну раз «спой», значит, надо петь. Люди здесь все умные, знают, что требуют. Баба Груня и запела:

– Вот кто-то с го-о-орочки-и-и спустился! Наверно, милый мой идё-о-от!

Она не поняла, за что рыжая медсестра грубо вытащила ее из кабинки и начала ругать. Что кричала эта злая тетка, баба Груня не разбирала. Про какие-то испорченные пленки, про хулиганство, про утреннюю пьянку. Монстриха всё орала и орала, а баба Груня в слезах поплелась к себе в палату. Сердобольные женщины, увидев заплаканную старушку, стали ее утешать, говорить сочувственные слова. Но узнав, что баба Груня спела рыжей кобыле песню про милого, начали хохотать.

А когда растерянная баба Груня сквозь слезы спросила у них: «Бабоньки, можа, я не ту ей песню спела?» – тут уж совсем все попадали со смеху. И про болячки свои забыли. Гоготали так, что весь этаж сбежался узнать, что случилось. Скоро от хохота дрожали стекла в окнах.

Баба Груня махнула рукой и ушла в коридор. Притулившись около лестницы у окошка, она с грустью смотрела на чужой пейзаж и вспоминала родную Вшивку. Там ведь сейчас так красиво. Черемуха кипит белой пеною в палисаднике, желтые одуванчики, как маленькие солнышки, светят в зеленой муравушке, курочки квохчут у завалинки Благодать. А тут – заборы каменные, свалка мусорная, серые здания, корявые бородавчатые обрубки тополей...

Под окном остановилась легковая машина. Сверху на багажнике был привязан гроб. Водитель вышел из машины, отвязал веревки и снял крышку. В гробу лежала Устинья. Ее дом стоял неподалеку от Груниного, у самого прогона, где когда-то пастух Евстигней гонял деревенское стадо. Баба Груня смотрела на мертвую Устинью и не верила своим глазам.

– Свят, свят, свят, – перекрестилась старушка и отошла от окна. – Померещится же такое... Бес глаза-то застит.

Она походила по коридору, потом осторожно подошла опять к окошку и выглянула. Устинья лежала в гробу, сложив сморщенные ладошки и смежив веки.

Охнув, баба Груня села на пол.

– Что с тобой, бабушка? Тебе плохо? – запричитала уборщица, только что поднявшаяся по лестнице. – Сестра, сестра, помоги, тут бабушке плохо!

Прибежала дежурная медсестра, подняла легонькое тельце старушки, уложила на топчан. Сбегала за нашатырем, привела кое-как больную в чувство.

– Что случилось, бабуль? Сердце прихватило?

– Там Устинья... – показала рукой на окошко баба Груня.

– Ну и что?

– Она в гробу на машине.

– На какой машине?

– На легковушке...

Уборщица глянула в окно и всплеснула руками:

– Вот окаянные! Надо же чего удумали!

Медсестра тоже посмотрела в окно и ахнула:

– Вот черти полосатые! Совсем стыд потеряли! Я им сейчас покажу!

Медсестра убежала. Уборщица наклонилась к старушке:

– Ну как ты? Полегче стало?

– Так мне не померещилось? Там правда Устинья лежит?

– Так я не знаю, кто там. Может, и Устинья.

– Значит, нас четверо осталось.

– Где?

– Во Вшивке. Умирает деревня-то. И всё вместе с нами умирает.

Сейчас уже старой-то жизни никто не знает.

– А кому нужна старая-то деревенская жизнь? Навоз да вилы, лопата да коса. От зари до зари горбатились, а жили впроголодь.

– Это правда. Тяжело всегда жилось. Всё рученьками своими делали. А теперь проще... Белье вон и то сноха в машинке стирает. И молочко с маслицем из магазина берут, со скотиной уже не возятся. А раньше ведь даже хлеб сами пекли...

– Ну вот видишь, так зачем о старом-то жалеть?

– Не знаю. А мне всё равно жалко. Ой, какие песни мы с Устиньей пели! Парни за нами гурьбой ходили. А на Масленицу наряжались да пляски устраивали и хороводы. Тележку возьмем, соломенную Масленицу в нее посадим и по всей деревне с песнями везем. Весело!

– Это у вас от бражки, наверное, веселье-то было.

– Что ж, и бражки немножко выпивали. Какой же праздник без нее? Так ведь и без бражки весело жили.

– Ну вот, тебя не поймешь. То тяжело, то весело.

– И того, и другого хватало... А сейчас прежняя-то жизнь на нет сошла. Никто не помнит, как ложку деревянную выточить, как лапти сплести, как валенки подшить, как половики соткать, как песню старинную спеть... Русь-то старая только в памяти хранится. А ведь с нами всё и кончится. Нас уж во Вшивке только четыре штуки и осталось: я, Полинка, Аксинья да Татьяна. Так, видать, и моя уж очередь подошла.

Баба Груня зашла в тяжелом кашле.

– Вот заладила... – отмахнулась уборщица. – Чего там хранить-то из старой жизни? Кому сейчас лапти нужны или половики? И обувь в магазинах есть, и ковры красивые.

– Да разве дело в половиках, – сказала баба Груня, утирая хвостиком платка рот. – Вот, бают, ученые в старинных городах землю раскапывают, чтобы узнать, как тыщу лет назад люди жили. А ведь сейчас не знают даже, что пятьдесят лет назад было. Тоже когда-нибудь начнут раскапывать, чтобы про нашу деревенскую жизнь вызнать. А зачем тогда разорять-то было? Беречь надо память людскую. Быт-то деревенский веками налаживался. Наши деды и прадеды законы неписаные свято

хранили. А вы хотите всё подчистую извести. Вон померла Устинья, а с ней и все песни стародавние в гроб легли. Она ведь их знала немерено. Ноне никто уж таких не знает. А ее, как овцу, на крышу машины взгромоздили и по городу катают. Чай, она человек.

Прибежала запыхавшаяся медсестра:

– Узнала я всё! Это, оказывается, сын этой умершей бабки, чтобы, значит, на грузовую машину не тратиться, положил мамашу в гроб и загрузил на багажник своего «жигуленка». А сюда приехал за справкой о смерти – рядом-то морг находится. Ну, я ему и устроила! Ты что же, говорю, гад, больных наших пугаешь?! Так и до смерти ведь можно довести. Всё! Уехал он, не расстраивайтесь, бабуля. Идите в палату.

Проводив бабу Груню до кровати, все занялись своими делами.

А та лежала, отвернувшись к стене, и вспоминала кудрявого гармониста Петеньку, умевшего целовать до головокружения, веселых подружек из далекой певучей юности и самую бойкую из них Устиньюшку, вспоминала сурового бородатого батюшку и ласковую кроткую матушку, оранжевые просторы льняного поля, зеленые кудри березового леса, протяжную мелодию коровьего мычания, хвастливые рулады петушиного «кукареку»...

И еще она ругала соседку Полину, уговорившую ее приехать в этот содом, где всё не так и не эдак... Не дай бог помереть здесь. И повезут ее отсюда в открытом гробу на легковушке, как Устинью. Нет, домой надо собираться, пока сама живая и деревня еще не сгинула... Так решила про себя баба Груня. И с этой мыслью спокойно уснула.